

Владимир Шапко

ИНЖЕНЕР
АБРАМИШИН

Повесть



16+

Владимир Шапко

Инженер Абрамишин

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=57121085

SelfPub; 2020

Аннотация

Инженер Абрамишин по лимиту хорошо зацепился в Москве. Он полностью доволен, счастлив "на празднике жизни". Но попадает в расставленный на него силоч, ловушку, выхода из которой у него нет.

Содержание

1	4
2	6
3	9
4	12
5	16
6	20
7	26
8	31
9	33
10	35
11	42
12	47
13	51
14	55
15	58
16	60
17	66
18	71

1

Михаил Яковлевич Абрамишин на рассвете уже беспокоился, не спал. Нужно было выпроваживать, знаете ли. Третьими пальцами поглаживал её жиденькие мелкозавитые волосы, которые на ощупь были прохладными, вчера, перед свиданием, видимо, вымытые шампунем. Господи, разве могут эти жалкие волосишки произвести впечатление на мужчину? Разве могут? Он жалел её. Он жалел её до слез. Как родитель её. Как отец. Он жалел сейчас всех некрасивых женщин на свете. Как своих дочерей. И её вот тоже, и её! С мгновенно вылупившимися глазами он тут же устанавливал её на тахте. Сжимал зубы, закидывал голову. Со слетевшим за ухо зачёсом, как Соловей-разбойник с длинным жёлтым свистом.

Потом женщина целовала его. Но он уже торопил её. Соседи, соседи, знаешь ли. Ждал, когда она оденется. Быстро проводил до двери, сунул пять копеек на метро, потрепал грустное личико. Всё, всё, всё! Позвоню! Чао! До конца прослушал торопящуюся по лестнице женщину, побежал в квартиру, прыгнул на тахту, почти тут же уснул.

...Прежде чем перебраться в большую комнату в двухэтажном доме по улице Благоева 3, из которой вот-вот должны были отправить в последнюю эвакуацию восьмидесяти-

летнюю Фани Фейгельсон, в дом, где остальные обитатели тоже были из эвакуированных и почти все между собой родственниками – Фрида и её новый муж Янкель, часовых дел мастер, старше жены на двадцать лет, и их только что родившийся ребёнок жили на квартире у старухи Агафоновой, в мазанке, через дорогу наискосок от этого самого двухэтажного каменного дома. Комнатёнка у Агафоновой была настолько мала и тесна, всегда так жарко натоплена, столь часто тонула в пару стирки, а затем в палестинских лагерях из простыней и пелёнок, что высвеченный низкой лампой голенький младенец, дожидаясь смерти прабабки, от жары всё время сучил на кровати ножками-ручками. Словно бы всё ещё находился в красной тесной и душной материнской плаценте.

2

Проснувшись, Михаил Яковлевич зевал, потягивался в постели. Затем, вспорхнув с тахты, побежал в ванну.

Перед зеркалом с удовольствием намазывал щёки помазком. В импортном креме помазок таял. Потом тоже импортный ножичек, лаская, снимал всё со щек и подбородка с первого раза. Щёки под пальцами ощущались словно терпкое стекло. Придвинувшись к зеркалу, хлопал по ним. Лосьон – тоже импортный. Всё при желании можно достать. Из зеркала на него смотрел новорожденный младенец. Нос вот только. Но – это вопрос времени. Всё можно сделать, всё можно исправить.

Встал в ванну. Хорошо измыленное мыло походило на розовый бюст дамы. Приятно было катать, измыливать его.

Под душем – пел. Носовым, предназначенным только для дам, козлетоном. Совершенно не в ту степь. Слуха не было никакого. Но об этом словно бы не знал. Настроение было отличное. И подпортилось оно только на кухне. Из-за этих нерях. Потому что пришлось ножом, а потом железной тёркой счищать гарь со сковородки. Под струей воды. В раковине. Ничего не умеют делать, дурочки! Ничего! И главное – все всегда лезут на кухню! Показывать лезут, показывать, какие они замечательные хозяйки! Как прекрасно они готовят! Вот что удивительно!

...Когда Мойшик принимался орать, притом орать всегда неожиданно, казалось, ни с того ни с сего (только что был весёлый, сучил ножками, только что хорошо отпал от пудовой груди Фриды, и нате вам!) – в двухэтажном доме сразу начинался переполох, и все бежали на первый этаж за семнадцатилетним дядей Мойшика, Робертом, студентом медицинского института. Длинный, сложившийся на стуле трансмиссией, студент откладывал на стол большую медицинскую книгу. Вставал, подбивал повыше на нос очки, шёл за суетящимися возбуждёнными женщинами, мальчишками и девчонками. (Весь гамуз сопровождал специалиста! Весь!) Уперев руки в бока, молча смотрел на горланящего племянника. Точно проверяя матрац (на упругость), резко тряс вокруг крикуна. Длинными пучками пальцев. Точно беспокоил клопов. Выпугивал. Выгонял. Подпрыгивающий племянник реагировал не так, как надо. Ещё пуще заходился. Не берёт.

Эскулап сопел большим носом. С боков к нему заглядывали ещё два носа поменьше, семи и восьми лет, то ли племянники его, то ли двоюродные братья. Приходилось применять самое действенное средство. Дядя брал детские ступняшки в горсть и начинал подкачивать племянника. Подкачивать как примус. Доводить крик его до нужной кондиции. Затем резко, коротко дул ему прямо в рот, в крик. Превратив себя в мгновенную, безжалостно-острую примусную иголку. Мойшик испуганно пыхал какое-то время, захлебываясь, суча

ножками-ручками – и разом умолкал. Очень удивлённый новыми ощущениями внутри себя, хлопая белесыми ресничками. Порядок, говорил дядя Роберт. Шоковая терапия. (Вон, оказывается, откуда всё пошло-то...)

С достоинством шёл из комнаты. Вместе с ним шла рекомендация врача: заорет – на руки ни в коем случае. Только шоковая терапия. Малолетние два племянника поторапливались впереди, чтобы опять подать ему большую книгу, а потом по кивку его головы переворачивать страницы. А маленький Мойшик уже сидел, подбитый подушками, словно бы смущался, извинялся за такой переполох – два пальчика на голых ножках цеплялись, цеплялись друг за дружку.

3

После завтрака, не торопясь, со вкусом одевался. Натягиваемые шёлковые чёрные носки льнули к ноге, ощущались чёрным, плотным, холодящим лоском. Белая, с коротким рукавом рубашка хорошо пахла свежей порошковой стиркой и заглаженным зноем утюга. Галстук, завязываемый перед зеркалом, играл на шее орхидеей. Серые, слегка расклёшенные брюки хорошо, рельефно-сексуально схватывали, подчёркивали пах и бедра. Так. Можно бы и ограничиться всем этим: белая рубашка с коротким рукавом, длинный галстук – деловой демократичный стиль, стиль инженера НИИ Абрамишина, – но предстояла (возможно) встреча с Молибогой (не забыть по имени-отчеству, Анатолий Евгеньевич), поэтому требовалась корректность, некоторая даже официальность в одежде. Блейзер. С капитанскими золотыми пуговицами. Синий бельгийский блейзер. Купленный за 120 р в прошлом году. Их тех, по фасону которых шьют спортсменам и тренерам, выезжающим за рубеж. В которых наверняка они будут щеголять на предстоящих в Москве Олимпийских Играх всего через год. С пышными гербами СССР. Как с хризантемами на левой стороне сгруды. Хорошо бы заказать в ателье такую же хризантемку. Жаль, что нельзя. Так. Длинный блейзер сидит несколько просторно. Но сейчас это модно. Ниточку с рукава. Соринку. И, наконец, обуваться.

Как жёстко фиксируя всё предыдущее, как ставя точки – с длинной железной ложки пятки соскальзывали, тупо вдаряли в туфли. Раз. И ещё раз. Отлично! С одеждой и обувью всё в порядке. Зачёс вот этот ещё. Опять за ухо упал. Правда, что Соловей-разбойник с повисшим свистом. Наказание божье. Прокинуть, прокинуть его. Слева направо. Затем расчёской. Тщательно уложить. Вот так хотя бы. Теперь газ, свет везде. Ключи. От квартиры. В которой могут... лежать деньги. Всё. Смело на выход.

...В упрямой, можно сказать, медной голове Фриды крепко сидело тоже, наверное, медное, никак не забываемое ею выражение: «Он менял женщин как перчатки!» Покачивая на руках маленькую сестрёнку Мойшика, родившуюся почти через пять лет после него, она так и говорила: «Да, он всегда менял женщин как перчатки!» Как пощёчины, выделяя два последних слова – «как перчатки!» Было непонятно только, кто – менял? То ли первый муж, который бросил её после трех месяцев совместной жизни. То ли второй, который был на двадцать лет старше её и не бросал пока, но который тоже в своё время – ого-го!.. На всякий случай Янкель (второй муж) передёргивался, как от озноба, и скорее склонялся над разобранными часами, предварительно зажав линзу правым глазом. «Да! – повторялось зло и даже торжественно, – он менял их как перчатки!» Маленький Мойшик внимательно вслушивался в эти слова мамы. Может быть, уже тогда чув-

ствуя, но не понимая ещё в них того мистического, рокового значения, мимо которого даже взрослый человек иногда проходит просто так, не обратив внимания.

На выходе из подъезда столкнулся с Голиковой. Соседкой по лестничной площадке. С мусорным пустым ведром её. Ведро аж прогромыхало, ударившись о дверь. (Нехорошая примета.) Извинился, конечно, поздоровался. За собой услышал долгое, непонятное хихиканье. Оглянулся даже. Голикова удерживала пустое ведро, как порученное дело пионерка: двумя ручками. Впереди себя. Скромненько. Покачивая его. И всё хихикала, хихикала. Странно. Дура. Староста подъезда ещё. Подглядывает всегда в свой дверной глазок. С кем ты пришел. Кто от тебя вышел. Сплетница. Всё время в квартиру твою хочет попасть. Начинает подпрыгивать даже. С глазками-пульками. Как у востроносенького пуделька. Высмотреть стремится. Когда ты с ней разговариваешь в двери, одетый по-домашнему. В чешский махровый халат. Подпрыгивает. Дура. Ещё хотел с ней познакомиться поближе. Пожалеть. Как можно ошибиться в женщине!

Настроение улучшилось только на улице. Когда стал разглядывать, как бы коллекционировать встречных женщин. (Не все же такие, как эта Голикова!) Когда начал раздевать, оценивать, снова одевать. Любоваться, знаете ли. Вот, к примеру, идёт одна. Чёрные жёсткие волосы пучком вбок вывернула – как своеобразный фонтан нефти. И – без лифчика. Новая мода. Захватывающее, знаете ли, зрелище. Коллекци-

онная дама. Долго оглядывался. И вдруг ещё одна! Такая же! Только волосы другого цвета! Под седину! Как будто вскрытая бутылка шампанского мимо тебя прошла! Сегодня везёт на коллекционных. Везёт! Можно даже потерять ручки!

На автобусной остановке взгляд автоматически отмечал. Короткая Юбка На Скамейке, тощие ноги из-под которой были поставлены не без кокетства – вместе и набок, как падающие кегли. Рядом с ней сидела Нога На Ногу. Тугие, открытые чулки были как масло. А ещё одна женщина – стояла. Низенькая. В платье кулёчком. Со стеснительными ножками. Изумительный, знаете ли, триптих!

Когда садился в автобус, водил перед ядреным задком Короткой Юбки растопыренными пальцами. (Так лупоглазый маг ведёт по воздуху перед собой сверкающий шар.)

Радуюсь, с шальными глазами мальчишки сидел рядом с другой женщиной. Средних лет. Крупные коленки женщины воспринимались белыми баловнями. Эткими баловнями судьбы. Дух, знаете ли, захватывало. А в окне большая копна волос её, путаясь с солнцем, неслась, подобная большому пожару. Хотелось петь, смеяться. И пролетал вместе с торцом здания запечатлённый человек. С откатным лбом дамбы, с цепными звездами на груди: всё хорошо, товарищи! жизнь прекрасна!

...Три воспитательницы в белых халатах сидят на низкой приступке детской песочницы. Ноги – вытянутые – лежат

на песке. Женщины с любовью осматривают их. Щурятся на солнце, вяло перекидываются словами, не обращая внимания на пробегающие, истошно кричащие, тощенькие теньки. Одна Фрида колготится с детьми. Ей положено, она – няня. Год работает, а привела (внедрила) уже весь свой кагал. Детский. Пять или шесть ребятишек уже там. В общей куче. Малолетние племянники её. Чёрт их там разберёт! Малолетний Мойшик. По всем группам насовала. А Фрида косится на бездельниц. На этих барынь с вытянутыми белыми ногами. Фрида старается. Фрида везде поспеваает. Невысокая, сутулая, с вынесенным вперед, распахнутым тазом. Как с околотком, по меньшей мере. Где всё словно бы помещается. Где при желании и некоторой доли фантазии можно бы, наверное, увидеть и самого околоточного со шнуром и револьвером, и толстопятый трактир, который всегда ходит ходунном, и покачивающегося возле трактира кучера в обнимку с умильной мордой лошади, и ситцевых кухарок, идущих с большими корзинами, из которых колыхается поросль утиных головок или торчит одна-разъединственная удивлённая голова гуся. И солидных дам под зонтиками с бегающими собачонками-поводырьками. И прислугу тут же с их детьми, как раскормленную сдобу с марципанами, И молодых дам, тоже с зонтиками, но с талиями и робкими ридикулями мешочком. И – как саранчу – их кавалеров с тросточками. И винтоногого чиновника в поклоне, с улыбкой Моны Лизы пред пронсящимся тарантасом начальника. И чумазных ре-

месленников в мастерских, этих непохмелённых каторжан с тоской в глазах протяженностью в шахту. И, наконец, – как здесь вот, во дворе садика, – можно увидеть прямо-таки воробейных, вездесущих ребятишек, которые носятся стайками, которые всегда рядом со всевозможными катастрофами и за которыми нужен глаз да глаз: куда! к-куда полезли! это же помойный ящик! ящик! назад! немедленно назад! о, Господи!..

И только трёхлетний Мойшик слонялся в стороне от всего околотка. Стоял-покачивался где-нибудь, выводя носком сандалика застенчивый фамильный вензель. Или разглядывал писю у двоюродной сестры Сони, когда играл с ней в доктора. За кустом сирени, у забора... «Вы что тут делаете, а? Ах вы такие-сякие!» Фрида, боязливо оглядываясь, потихоньку поддавала негодникам, стараясь не шуметь в кустах.

Перед гостиницей «Россия» из подплывшей чёрной «Волги», неуклюже ворочаясь, вылезала очень полная дама. Широка и необъятна она была – что страна моя родная! Такая могла быть в обиходе только у Первого Секретаря Обкома Партии. (Это почему же? А-а! секрет!) С большим достоинством дама пошла к лестнице, к входу в гостиницу. Янтарь размером в прибрежную гальку катался по груди. Шофер, забежав вперёд с картонной коробкой, распахивал стеклянную дверь. Взгляд Абрамишина блеял. А грузин, стоящий тут же, топнул ножкой и зверски завернул левый ус. Они (грузин и Абрамишин) понимали друг друга с полувзгляда. Уж они бы не оплошали. Уж они бы быстро освоили эти ходячие номенклатурные ценности. Только б доверили им. (Кто? Партия? Правительство? А-а, хитрые!) Они были одного племени. Племени пожизненных бабников. Трепачей. Оба, что называется, били копытцами. Это их тренинг. Ежедневный, ежеминутный тренинг. Ведь сколько объектов вокруг! Сколько объектов! Вон, к примеру. Пожалуйста. Стоят три. В трико – как лыжи в чехлах. Сдающиеся напрокат. (Слалом, прыжки с трамплина, многочасовая лыжная гонка.) Или вон одна работает. Отдельно. Единоличница. Намазанные губы выпятила как соску. Это же тысяча и одна ночь! Абрамишин подмигнул грузину, направился к девице.

Потёрся возле. Незаинтересованно, посторонне. – «Сколько?» – спросил будто у ветра. «Так сколько же?» – всё вертелся Абрамишин, как будто не мог обойти столб. Девушка похлопала нацинкованными ресницами как Чингачгук перьями: «У тебя денег не хватит, козел». Подумав, бросила цену. Ого! Абрамишин испуганно смеялся, отходя. Как облитый ледяной водой. Спекулянтка! Стяжательница! Весело развёл руками перед грузином: ростовщица своего тела! Жуткая процентщица! Кошма-ар! Однако когда пошёл, наконец, дальше, чувствовал большую готовность. Какая появляется после принятия золотого корня. Настойки, знаете ли. Кстати, не забыть купить в аптеке на вечер! Ну и других атрибутов побольше! И-эхххх! И-иго-го-о!

... Часто зимой простужался и подолгу болел. Мама тогда не брала с собой в садик. Весь кагал малолетний отправлялся без него, Мойшика. Дядя Роберт сразу же принимался лечить. Прежде всего, ставил банки. И не больно нисколько. И не плачу даже. Жалко никто не видит. Завидно бы было. Им-то дядя Роберт не ставит. Ни одной банки. Прежде чем вляпать, он быстро сует и смазывает банку длинным огнем на палке. И – пок! В спину. Одну, вторую, третью... и четвёртую – пок! Четыре банки только помещается. «Однако спинка у тебя! – говорит всегда дядя Роберт. – Не спинка, а серенькая душка!» Почему серенькая душка? Что такое серенькая душка? Никогда не объяснит. И сдувает длин-

ный огонь с палки. Накрывает банки простынёй. «Лежи! Не шевелись!» Садится на край кровати и берёт свою медицинскую книгу. Толстую. И не больно нисколько. Вытягивает только сильно. Серенькую душку. Дышать, вздохнуть даже невозможно. «А горчичники не будешь ставить?» – «Посмотрим». Всегда так отвечает. Ему хорошо, он врач. Что скажет, то и нужно делать. Будущий доктор, как мама говорит. Сдёргивает простыню. Сейчас... сейчас снимать будет. Вот... вот... «А-а-а! не больно! не больно! нисколько не больно!» Как мясо отдирает. «А-а-а! А горчичники не будешь ставить? Не будешь? Правда, ведь?» Молчит. Отвернувшись, что-то делает на табуретке. Чего он там делает? «А-а-а! Не хочу, не хочу, дядя Роберт! Не надо горчичники, не хочу! А-а-а!» Вляпал. На грудь теперь. Как сырую лягушку. Не пошевелиться. «Начнёт жечь – дай знать... Серенькая душка...» – «А-а-а! жжёт уже, жжёт, жжёт серенькую душку! Дядя Роберт! Душку! Уже жжёт! Серенькую! А-а-а!»... Потом после всего дядя Роберт читает сказку про Илью Муромца и Соловья-разбойника. А потом уже будет обед. А потом уже будет сон. А потом уже придёт мама...

Вечером, отогревая горсти рук своим дыханием, Фрида подходила и робко трогала головку сына. «Ну, как ты тут?» Мойшик зажмурился крепко-крепко. Как будто он спит. Дядя Роберт сидел на краю кровати, улыбался. Со всех сторон заглядывали то ли племянники его, то ли двоюродные братья. Мойшик больше не выдерживал – в одной рубашонке

вскакивал на постели. Изо всех сил прижимал кучерявую голову дяди Роберта к себе. (Прямо Илья Муромец!) «Я люблю тебя как... как... как горчичник!» Все смеялись. Дядя Роберт похлопывал племянника по голой заднюшке, тоже смеялся. И царствовало над прыгающими радующимися детьми вечернее горящее окно, являя собой фантастически разрисованное государство.

6

В утренней стекляшке поджигаемые солнцем алюминиевые столы и стулья зыбились, теснились по залу, как цапли на сладостном утреннем озере. Инженер Абрамишин садился таким образом, чтобы видеть всё это. То есть на постоянное свое место в правом углу кафе. Закинутая на колено нога сразу закачалась. Прямая спина на спинке стула. Кулак в кармане брюк. Пальцы правой руки постукивают по столику. Губы улыбаются. В свое кафе пришёл завсегдаятай. – «Зинка, вон, твой заявился. Ровно неделя прошла. Выходной у него сегодня». Официантка выискивала бога или чёрта на потолке, подходя к Абрамишину.

– Ну? Чего сегодня закажешь?

– Доброе утро. Как всегда. Один кофе.

Официантка пошла, встряхивая белой кофтой, как капустой. «Только черный!» – уточнил клиент... О-о-о!

При взгляде на кофе, поданном в стакане, на ум почему-то приходило сено. Сено для осла. Однако Абрамишин улыбался. Попросил принести в чашечке. И блюдечко обязательно. Знаете ли, в Эстонии...

– А нету! Все чашки побили! – Азартный потрясывающийся рот официантки был сродни ларьку. Подрагивала также и вся «капуста» на белой кофте.

Абрамишин улыбался. Нужно приучать, терпеливо при-

учать. (К чему? К культуре?) С любовью приучать. Да. Только с любовью. А вот в Эстонии, знаете ли...

– С собой теперь приноси! Из дому!.. Будешь пить или убрать?

Зачем так волноваться? Миротворец улыбался. Миротворец хотел мира. Мы же нормальные люди. Сколько радости кругом. Солнце светит. Столы, стулья, знаете ли, в нём. Рядом с тобой милое лицо жен...

– Да чёрт тебя дери! Будешь или не будешь?

Абрамишин, как защищаясь, провёл рукой по голове. Хотя в Эстонии, конечно... Убедили, знаете ли. Спасибо. В следующий раз будем надеяться. Только с любовью. Приучать, знаете ли. Спасибо. Сидит очень довольный жизнью человек. Улыбающийся человек. Совершенно верно, уважаемая. Будем знать. Из дома. Точно. С любовью. Принесём чашечку. Купим. В посудном магазине. Приучать. Извините. Спасибо.

Официантка шла к буфетчице с круглейшими белками глаз: Да-а-астал!

Прошло минут десять блаженной тишины. Кофе был выпит. Столы и стулья по-прежнему сгорали в солнце по всему безлюдному залу. Тишина, покой. О чём-то тихо разговаривает с буфетчицей облокотившаяся на стойку официантка. Сзади, в подколенные части стройных её ног будто вставили выпуклые две баклуши. Белые. Которые хотелось, знаете ли, не бить, а нежно гладить. Да. Всё хорошо. Отсчитав ровно

двадцать три копейки и положив десять копеек рядом, Абрамишин направился к выходу.

– До приятного свидания! В следующий четверг!

Буфетчица и официантка сначала переглянулись, потом пошли падать на стойку и подкидываться на ней. Теперь уже, знаете ли, как милые две баклашки. Баклаги. «Да чёрт побери! Да ха-ах-хах-хах!» Абрамишин прощально поиграл им пальчиками.

В стеклянной будке рядом с кафе, слившись с телефонной трубкой, прикрывая её рукой, являл собой некую конспиративную заглушку. Оглядывающуюся по сторонам, насторожённую. У-гу. Полная конспирация. (За стеклом буфетчица и официантка погибали от смеха, махались руками.) Но разом закричал, засмеялся, забыл обо всём, как только всплыл в таксофоне голос.

«...Задёрни шторку. С улицы видно...» – говорил Янкель. «Ничего не видно. Работай знай. Не стесняйся», – всегда одинаково отвечала Фрида. «А я говорю: видно!» Янкель сам, чертыхаясь, тянулся и задёргивал занавеску. «Ну и порть свой глаз!» – в сердцах восклицала Фрида и переходила со стулом и шитьём к другому окну, светлому. Янкель косился на упрямую жену. Чертовка! Всё поперек! Часовой мастер, он был с постоянным своим волчьим глазом. Он словно никак не мог освободиться от него. Он поминутно скидывал его в руку. Ну выведет всегда! Ну выведет! К-

коза! «Иди сюда!» – приказывал сыну. Мойшик подходил. Мастер надевал наследнику на глаз другое стекло. На резинке. «Смотри сюда!» Резко пригнул голову сына к открытым часам. «Что видишь?» Перед Мойшиком будто дышало живое чрево блохи. Гигантское, развороченное. Мойшика начинало покачивать, тошнить. «Э-э, идиот!» – Мастер срывал линзу с сына.– Никчемный мальчишка! Иди, чтоб зоркий глаз мой тебя больше не видел!»

Получив тычок, Мойшик отскакивал от стола. Потом, приобнятый мамой, вместе с нею смотрел в окошко на осеннюю улицу Благоева с далеко откинутыми друг от друга домиками и пустынными дворами. Проехала старая-престарая «эмка» с жёлтыми лепёхами шпаклёвки. С задранной передком, похожая на грудастого пса. Почему-то полная белолобых пенсионеров. Минут через пять обратно катилась. Внутри всё те же белолобые. И уже поют. Заливаются. Что за гулянка такая на колесах? Пенсионеры ведь?

Янкель откинул занавеску, посмотрел. «Э-э! Такие же идиоты!» Хотел было задёрнуть матерьял, но увидел поигрывающую ножкой Почекину. Соседку. Из мазанки через дорогу. Хромоножку. Которая вела под руку очередного офицера. Офицер шёл в здоровущих галифе. Как будто в двух трехведёрных самоварах-самопалах. Янкель отвешивал челюсть. Маленькая Почекина суетливо заводила самовары в мазанку, и сразу же оттуда выскакивали на улицу её малолетние дети, Генка и Жанка. Начинили не зло шпынять друг дружку.

ку, для порядку драться. Зачем-то перелезали через штакетник к Агафоновой. Стояли в яблоневом облетевшем саду, как в коричневом заговенье. Мать что-то орала им, потом выкидывала две телогрейки. Снова лезли через штакетник... «Чего к ней липнут эти офицеры! И что находят в ней! Не пойму!» – зло удивлялась Фрида. «Червивое – самое вкусное яблоко, уважаемая!» – поворачивал к ней лицо супруг. «Конечно, когда кое-кто меняет женщин как перчатки, – тогда – конечно!» Янкель взмётывал над головой фейерверк рук. Безгласный. Как бы говоря этим фейерверком: что тут говорить! Господи! Дура и не лечится!

Между тем Фрида уже застёгивала на Мойшике пальтишко, на голову прилаживала великую кепку, и через минуту муж и жена смотрели из разных окон, как их сын стоит на улице перед такими же маленькими, как сам, двумя детьми и протягивает им что-то в кулачке. Свой секрет. Дети разглядывают то ли пуговицу, то ли копейку. А над ними, высоко над дорогой, чёрными лоскутами висят три вороны. Мёрзнут на осеннем ветру, осторожно поныривают. Потом по очереди начинают упадать на стороны, вниз, чтобы спрятаться где-то во дворах, пропасть...

Дети бегут через дорогу к саду Агафоновой. Бегают меж яблонь, ищут в ворохах листьев что-то. На крыльцо выходит сама Агафониха, упирает руки в бока. Но словно забыв, что ребятишек должно из сада гнать – стоит и смотрит. А те уже играть принялись – назад из-под расставленных ножек ле-

тят залпы жёлтых листьев. И пуще всех старается Мойшик...

Она согласилась встретиться с ним на немножко перед самой работой. Она пришла на короткое это свидание в парике. В громадном рыжем парике. О, вы неподражаемы! Как будто в содранном с соперницы победном скальпе. О-о! С руками и ногами длинными, открытыми, как тощий членистый бамбук. О-о! Она была библиотекарем. Она стояла застенчиво. Ослабившись. Со ртом, полным длинных белых зубов. Как касса! О, чудная! Абрамишин подхватил. На полторы головы ниже Дамы. Сделал с ней стремительный тренировочный кружок на тротуаре. И – повёл. Повёл к чудной совместной жизни. В потоках солнца распахивал рукой. Показывал ей перспективу. И сразу же вышло вдаль и распустилось облако. Прекрасное, как хризантема. О-о! Абрамишин готов был сдёрнуть его с неба и преподнести Даме. Подлаживаясь под неё, перебивая ногу, он подпрыгивал, подпрыгивал как Арлекино. Не обращал внимания на пешеходов. На их улыбки. На их оборачивающиеся лица. Завидуют, завидуют! Они мне завидуют! Какое счастье! Прижимался к Даме. Стискивал её бамбуковую руку. О, милая! О! Одну минуту. Сейчас. Он отбежал. Он прибежал. Он протянул мороженое Даме церемонно. Как тот винтоногий чиновник из околотка, резко сделав задом назад. Ой, что вы! – смеялась, как каркала, дама. – Кар-кар! Зачем, кар-гар, же! Спасибо, кар-

гыр! Дама, как автомат, шла. Ничего не соображала. Судорожно клацала зубами. Белые куски мороженого падали, как пена у лошади. Ой, что я делаю! Кар-кар! На платье, кар-гар, же! Ой, гыр-кыр, извините! Абрамишин смеялся. Абрамишин не вмещал счастья. Вместе с ним смеялись на деревьях листочки. Она же примерно одних со мной лет. Лет тридцати семи, тридцати девяти. Она же вся в аллергии. Господи! Ведь это то, что нужно! Неврозы, неврозы у неё. Закостенелые неврозы! Вегетососудистая плюс спазм дыхательных путей, выражающийся в горловом скрежете. Выражающийся в карканье. Икании и заикании. Во время смеха. Кар-кыр! Гар-гыр! Вот как сейчас она смеется. Кар-кар-гыр-кыр! Это же невозможно представить, что будет в постели. О-о! И всё это будет через два дня! О-о! Как вместить это всё в голову! Как удержать!

Абрамишин подводил Даму к автобусной остановке. Опять сделав зад, поцеловал её длинную руку. Кар-кар! Гар-гыр! Дама полезла в автобус, как хижина дяди Тома. О, мой бамбук! Господи, какое счастье! Ведь только через два дня! Наворачивались слёзы. Безостановочно махалась рука. Ветер лупил по зачёсу. Лысину заголял. Абрамишин тут же кидал волосы обратно. Как мгновенный подол на женскую ногу. Снова прощально махался. Автобус дал газ. Резко откинулась лохматая голова за стеклом. Дама будто икнула. И-иик. Милая!

...Впервые их увидели в воскресенье, в центре города, идущих под ручку мимо клумбы, где высокий дядя в каменном пальто отставил одну ногу назад на носок и где Мойшик однажды съел целых два мороженных, купленных папой. (Правда, заболел потом.) Девица шла, вынося худые ноги далеко вперёд, отстранённая и проваленная в груди – словно несущая сама себя фанерка. Горбылястый Роберт склонялся к ней, что-то говорил. Ноги он переносил как кривые оглобли. Ну и пара! Что кавалер, что девица. Янкеля аж потом прошибло. Но Фриде девушка понравилась. В очках, правда. Как и Роберт. Слишком много очков. «Да она же концлагерь! Освенцим! Треблинка какая-то!» У Фриды побелело лицо: «Не кощунствуй! Осел! Чтоб язык у тебя отсох! Балаболка! «Освенцим». На себя лучше посмотри. Рыло!» Конечно, сказано было нехорошо, не теми словами, не нужно было так говорить. Но... зачем оскорбляет? А? И кто оскорбляет? Эта... эта бочка! Бочка прасола, набитая прошлогодним салом! «Да я был с фигурой кипариса, к вашему сведению! Точёного кипариса! Когда я шёл по улице – все женщины вздыхали. Вот так-то, уважаемая бочка!» «Х-ха, вздыхали! Смотрите на него – кипарис! Ха! Ха! Ха!»

Янкель отвернулся, осторожно повёл свою малолетнюю дочку дальше. Дочка запереваливалась на колёсных ножках как обезьянка, одетая в женское. Х-ха, кипарис! Наплодил чудес ходячих.

Фрида пошла с Мойшиком следом. А тот уже незаметно

теснил её. Осторожно подталкивал к газировке. К тётеньке с двумя красными колбами. «Ха! Ха! Ха! Кипарис точёный, купи лучше детям воды с газом!» Янкель остановился, полез за бумажником.

Дома – с чёрной линзой наискосок, как пират на пенсии, – Янкель пытался наставлять жену. Однако исподтишка как-то. Разглагольствовал о том, что даже дурак имеет себе хитрость. Даже дурак. Придерживает в запасе. Любой. Придурок. Стерженёк в нём есть, тайна, моментик, которым он никогда не поступится. Маразматик-старик. Или, к примеру – старуха. Ничего не соображают. А кое-что – и соображают. И очень хитро. О деньжках, например. О своих припрятанных деньжатах. Ещё ли там о чём-то тайненьком. На чём всё у стариков и старух держится. Тайный стерженёк у них всегда есть. Моментик. Разве они выдадут его, обнаружат, поступятся им. А так дураки и дуры, пожалуйста. Ничего не скрываем! А кое-что – и скрываем!

Разговор был очень хитрым, шёл при родственнице Фриды, её двоюродной тётке Риве, живущей на первом этаже, у которой якобы имелись денежки. Припрятанные. И немалые. От удивления рот старухи стал походить на колечко в носу папуаса: отвечать или не отвечать? Фрида, снимающая с Мойшика выходное, подмигивала ей. Мол, сейчас, обожди. И спрашивала сына: «Мойшик, как папа чихает?» Шестилетний Мойшик изображал тут же. И голосом, и лицом: «Ирр-рахи!» Старуха смеялась. Потрясывала розовым колечком

под носом.

Янкель мрачнел. «А как мамочка твоя преподобная чихает? А?» Янкель ехиднейше выделял перед сыном как бы козой рогатой. «Как? Идиотик несчастный?» Мойшик и тут бесстрашно выдавал: «А мама: апрысь-апрысь!» Фрида не унималась: «А папа как? Папа?» – «А папа – Иррр-рахи!»

Под смех женщин Янкель выскакивал за дверь. Снова всовывался: «Если бы все были умные как он – то вже они были бы идиоты!» Ответом ему был хохот. С неодушевлённостью лампаса дергалась на тётё Риве парализованная рука. Янкель смотрел. Э-э, несчастная! И ещё смеётся! Шарахал дверь. Быстро ходил по коридору. Душа кипела. По телефону разговаривала ещё одна родственница. Циля. Опять со стороны жены. Распахивал дверь. Показывал пальцем в коридор: «Сколько ей можно говорить по телефону?»

– Три минуты ещё не прошли, – смотрела на часы Фрида.

– «Три минуты...» – фыркал супруг. – Много ты понимаешь!

Родственница Циля начинала тараторить, косясь выпуклым глазом на Абрамишина. Старалась успеть.

– Да она же в три минуты наговаривает целых пятнадцать минут!

– Иррр-рахи! – подтверждал бесстрашный Мойшик.

8

Дождик стряхнулся с неба коротко, просто. Как вода с рук. Абрамишин шёл. Солнце сияло, будто розетка в петлице. Из репродуктора на Пушкинской летел марш духового оркестра. Дружно булькали кларнеты, жизнерадостный, попыхастый, постоянно выскакивал над всеми тромбон. Ноги сами подпрыгивали, перебивались в марш. Плечи расправить, грудь дышит широко. Под этот марш военного оркестра Абрамишин шёл к большому дому, где на первом этаже расположился Институт красоты, шёл на встречу с Молибогой. Не забыть по имени-отчеству! там-там! тарата-там-там-там! Анатолий Евгеньевич! трам-там-тарата-там-там-там! непременно! да-дьяра-там-там! да-дьяра-там-там! погоны бы ещё! фуражку! орден! совсем бы другое дело! да-дьяра-там-там-там!

...По вечерам двухэтажный дом на окраине городка торчал в опалённом зёве заката одиноко, приготовленно – словно последний зуб пенсионера. Издалека, неотвратимо, не в силах бороться с собой, к нему прокрадывались Роберт и его невеста. Словно убийцы на место преступления. Убедившись, что весь дом спит (только на втором этаже приглушённо стрекочет швейная машинка за накалённой шторой), сразу же принимались целоваться. Не снимая очков. Очки сту-

кались. Так, наверное, стучались бы слепые черепашки. Панцирями. Делая передышку, замирали. Щека к щеке. Всё с теми же очками. Теперь уже как с перецеплявшимися телегами. Отстранялись, наконец, друг от дружки. Похудевшие их лица пылали. Изнуренно смотрели вверх в высокую ночь, где в текучих облачках упирался и упирался упрямый парус луны... Снова целовались. Молча, без единого слова, изнуря себя... Мойшик, чтобы хорошенько всё разглядеть, вытягивался из раскрытого окна второго этажа. Однажды нечаянно столкнул вниз двухлитровую банку, полную воды. Банка полетела и жахнулась о камень... Жених и Невеста, точно гигантские две птицы, неуклюже сорвались и побежали. И вспорхнули с земли где-то уже в темноте... Мойшик отпрянул от подоконника. Под раскатистым храпом Янкеля пополз к своей кровати. И в чёрной ночи осталось висеть одно только неспящее окно в доме – гибрид колеса от телеги и гроба, за которым Фрида строчила и строчила на машинке...

Деликатно, чуть не на цыпочках, Абрамишин продвигался длинным коридором. От духоты двери косметических кабинетов были открыты. В комнатах лежали женские лица. Как сакраментальный рукотворный пластилин. Ядовито-зелёный, бурый, чёрный, белый. Окружённый трельяжными зеркалами, как на подносах перед ними – точно сплошной Ленин в крохотных мавзолейчиках! Мороз, знаете ли, по коже. Зато короткие хитоны на косметологах были вольными: в боковом разрезе можно было увидеть или убойное бедро, высоко и туго закольцованное кружевом трусиков, или даже забуйствовавшую вдруг, как в садке (косметичка принималась активными шлепками оживлять Пластилин), белорыбицу грудь.

Абрамишин в смущении опускал глаза. Абрамишин словно бы выпускал смущения пар: ху-у-у-х, знаете ли. Присел, наконец, на полированную скамеечку перед кабинетом главврача рядом с какой-то женщиной. Спросил, принимает ли уже Анатолий Евгеньевич Молибога.

...На свадьбе дяди Роберта Мойшика поразили даже не сами Жених и Невеста, сидящие истуканами, не гости, которые всё время кричали, желая, чтобы они постоянно вставали и целовались (у закрывающей глаза Невесты губы были

уже как ранки), не то даже, что свадьба происходила во дворе и шумела на всю улицу... а скрипка. Скрипка в руках отца. Откуда он её взял? В доме же её никогда не было? Это точно! Он удерживал её не на плече, а на пузе и, выпятившись, пилил и пилил смычком. Какой-то усач лупил в большой барабан, а он дёргал, дёргал смычок, выдёргивая из скрипки один и тот же, высокий, надсадный, надоедливый мотив какого-то танца. Бухающий барабан и скрипка. И всё. Ни одного больше инструмента.

Вдруг отец прервал игру, постоял и, будто дверь, повалился вперед. Упал и подкинулся на земле. Со скрипкой, как с латой рыцарь. А усатый сел прямо на барабан. Пробив кожу, крепко застряв в нём и опустив голову как после боя. Его подняли, и он пошёл куда-то с барабаном на зад. Не в силах распрямиться. Как будто с большой какой-то болезнью... Мойщик запомнил это на всю жизнь!

Нос женщины имел вид лекала. Сидя рядом с ней, Абрамишин старался не смотреть на него. Женщина напряжённо остановила взгляд перед собой, зажав на коленях сумочку. Бедняжка. Абрамишин не удержался, придвинулся к женскому уху: «Вы тоже... по поводу носа?» Женщина не ответила. Как будто не было вопроса. Только крепче сжала сумочку. Бедняжка. Стыдится себя. Абрамишин снова придвинулся: «Вы не ответили... Я насчёт носа...» – «Ещё чего!» – сказала женщина почему-то грубо и начала краснеть. Бедняжка. Сейчас заплачет. Абрамишин хотел пожать её руки своей участливой, всё понимающей рукой... но тут из кабинета вышел невысокий мужчина. У этого нос с лица свисал. Как кит. Как микролит, знаете ли. Как китёнок. Мужчина его понёс куда-то. Ринофима. Классическая ринофима. Абрамишин улыбался. Он был среди своих. Висящие сизые киты, лекала, попугайные носы, завёрнутые так, что не найти ни начала, ни конца; уши, взлетающие с головы. Он давно раскрыл тайну этого заведения. Дожидаясь теперь, когда женщина выйдет из кабинета, он потихоньку рассказывал тайну себе, весело поглядывая по сторонам и потирая колени. Сейчас. Сейчас его очередь. Сейчас, совсем скоро.

После женщины с фантазийным носом в дверь постучал игривым порольчиком: Трам-та-та-там! Приоткрыл дверь.

«Можно к Вам?» Широкое лицо Молибоги сразу наморщилось. Не могло скрыть досады. Врач за столом хмурился, пока этот вертлявый человек в великом клоунском пиджаке расточал приветствия, возгласы, улыбки, справлялся о здоровье. Пока он не присел, наконец, на краешек стула и не выпрямился столбиком. Весь внимание и весь ожидание, чёрт бы его задрал совсем!

Загнанный в угол, Молибога перебирал какие-то бумажки на столе. Косился на банку с цветами. Нужно было начинать трудный разговор.

– Вот что, Михаил Абрамович...

– Яковлевич, – тут же мягко был поправлен пациентом. – Яковлевич, Анатолий Евгеньевич.

– Да. Яковлевич. Извините. Михаил Яковлевич... Так вот. Почему вы хотите изуродовать свой нормальный красивый еврейский нос, Михаил Яковлевич?

– О-о, Анатолий Евгеньевич... Такой прямой вопрос...

– Да! Почему? Вот я, у меня вот тоже, смотрите – ноздри... Видите? – Молибога взял со стола зеркальце, отстранённо посмотрелся в него. Пошевелил крупными ноздрами. – Видите? Чудо-ноздри, между нами говоря! И – что? Я же не лезу от этого на дерево к обезьянам? Не комплекую? Не всем же красавцами быть, в конце концов. А? Михаил Яковлевич?

– О-о, у Вас нос очень симпатичный, Анатолий Евгеньевич! Знаете ли, как у бегемотика, хихихи!

Врач исподлобья смотрел на пациента. Потом перевёл взгляд к окну. Словно бы устало собирал им с улицы, с деревьев, с неба какие-то доводы, слова. И говорил их Абрамишину, глядя прямо в глаза. Говорил, что Институт красоты – не Институт дурости и капризов. Что люди едут со всего Союза действительно с драмами и страданиями, а не просто с носами, которые не нравятся. Что долгая очередь, люди ждут по два, по три года. Знаю, знаю, что у вас уже полтора набралось! знаю! но я не хочу глупости потакать! не хочу! неужели вы не видите? и потом: почему вы ко мне только ходите? идите к Горшениной, она и подарки принимает, и всё другое, почему ко мне? к Горшениной идите, к ней!

Маленький человек в громадном пиджаке вскочил.

– Чтоб я! К Горшениной! К этому коновалу! Никогда! Только под Ваши золотые руки, Анатолий Евгеньевич. Руки хирурга с мировым именем!

Врач опять по-бычьему смотрел на пациента, который сел. Который вытирался платком. Красный. И даже возмущённый. К Горшениной!.. Да, ничем такого не прошибёшь.

– Да поймите вы, наконец, поймите. Ваши все рвутся за рубеж, в Израиль, в Америку, везде предъявляют свои носы, прежде всего, как паспорта, ниспосланные им Небом, понимаете? гордятся ими, а вы?.. Просто удивительно... Двадцать лет работаю на пластике... Первый случай... Не бывало такого... Это же в голове не укладывается: чтобы еврей сам захотел изуродовать себя, стать неизвестно кем! Чтобы...

– Извините меня, Анатолий Евгеньевич. Так Вам говорить нельзя. – Глаза человека были ласковы и даже по-отечески укоряли. – Это провокация. Так нельзя.

Молибога смутился.

– В общем... в общем, я не вижу у вас уродства. Нормальный нос. Весомый. С горбинкой. Не знаю, чего вы от меня хотите... Право слово...

Пациент молчал. Потом тихо сказал:

– О-о, я столько настрадался... Если б вы знали... Так хочется счастья... А тут... а тут... – Маленький мужчина начал шмыгать носом, вскидывать голову к потолку. Господи, неужели сейчас заплачет? Что делать? Врач быстро заговорил:

– Ну хорошо, успокойтесь только. Хорошо. Как вас? Михаил Абрамович. Приходите через месяц. Ладно. Будь повашему. Только не надо. Прошу вас. Я...

Захлёбываясь слезами, Абрамишин подскочил к столу, затряс даже не руку, а два пухлых кулака врача, которые тот не успел никуда деть. И тут же выскочил из комнаты, чтобы врач не передумал. Полный человек в белом халате упал обратно в кресло. Посидел, оглядывая стол. В большой банке с водой надоели друг другу растрёпанные пионы. Врач взял в руку зеркальце. Отстранился. Пошевелил ноздрями. Привет, тромбонист! Этакий – тромбонистый! Куда тебя только вести? В какой институт? А в кабинет заглядывал уже новый пациент. С таким, знаете ли, миленько свисшим хоботком

вместо носа.

– Прошу! – показал на стул врач Молибога.

...Внутри старинного красивейшего здания, Янкель, разглядывая с сыном лепные стены и лепной потолок с богатой люстрой (правда, сейчас не зажжённой), громко, торжественно сказал, что только в таком храме и может служить искусству многоуважаемый Семён Яковлевич. «Это Хлавка, что ли, наш?» Вахтёрша, старая, мрачная, дула за столиком пустой чай из алюминиевой кружки. Хм, «Хлавка». Хлавно-вич его фамилия, уважаемая. «На втором этаже, 21-й класс». Лицо вахтёрши свисало. Как Кёльнский собор. Хм, «Хлавка». Такое неуважение. А ещё пожилая женщина! «Идите, идите. Трезвый пока». Хм, «трезвый пока». Ну выпивает человек, ну и чьто?

Поднимаясь на второй этаж с сыном по парадной лестнице, Янкель даже не замечал из-за этого «хлавки», по какой красоте они идут. От солнца, бьющего сверху из окон, сверкали гладкие балясины с обеих сторон, а сама лестница была железная, кованая, под ногами ажурная, как кружева! Не заметил Янкель даже главную балясину на высокой тумбе, на лысине которой прямо-таки скворчали мысли-лучики!

Дяденька-скрипач, бурый, весь морщинистый, изучал развёрнутые в руках ноты. Его скрипка лежала на стуле. Какая-то неживичивая с фанерным сидением. Будто целлулоидная кукла. Папа когда-то чинил дяденьке старинные швей-

царские часы и починил очень хорошо, потому что сразу начались преувеличенно громкие приветствия, встряхивания рук друг дружке, восклицания, смех, затем по очереди умильное прослушивание этих самых часов, как нежно работающего сердца. Причем когда слушал Янкель, – Хлавнович ходил за ним на цепочке часов, как пёс за сильно прогибающейся конурой (если она прогибается когда-либо, конечно) и согласно кивал головой. Словно бы говоря: идут, всё ещё идут, потому что приложены были к ним руки мастера, непревзойдённого мастера. Наконец часы были вложены Хлавновичем обратно в специальный кармашек брюк, и мужчины сели на стулья напротив друг друга. Хлавнович поставил скрипку себе на колено, строго оглядел ее. Затем повернулся у Мойшику. Ну-с? Впрочем, я уже понимаю всё. Как тебя зовут, наш будущий юный музыкант? А? Не слышу? Миша? Значит, Мойше. Прекрасно! И он сразу вскинул скрипку к плечу, ещё где-то в воздухе успев ударить смычком аккорд. Арпеджированный аккорд. По всем четырём струнам скрипки. У-иии-и! Несколько напоминающий вопль ишака. В общем, ишака на скрипке дал. Да. Это я так. Для разминки пальцев. А теперь внимательно слушай и пой со мной.

Начался сам экзамен. Проверка слуха. Мойшик тащился робким голоском за бескомпромиссно-точным звуком скрипки, не сворачивающим никуда, от старания вставал на носочки, тянулся, заводил к потолку глаза. Так, наверное,

пел бы несчастный комарик в тон телеграфного провода под ветром, пытаясь к нему как-то подлаживаться, ему как-то подпевать. «Унисон! – кричал скрипач, яростно вытягивая смычком ноту. – Петь простой унисон!» Но вместо простого унисона в воздухе зудела то большая секунда, то разрезающая всё малая, то вдруг появлялась откуда-то секста, но начинала упорно выдавливаться септимой, а потом и вовсе пошёл тоненько замяукивать и повизгивать под потолком какой-то абхазисто-индонезийский лад. И всё это вместо простейшего унисона!.. Хлавка и Янкель абсолютно одинаково выкатили друг на друга глаза: разве может такое быть? ведь мы же понимаем о чём речь! чтобы еврейский мальчик! ни одной живой ноты! Да возможно ли такое?! И с высоких стен ошарашенно смотрели вместе с ними все намалёванные там композиторы. Все на одно лицо. Все с русскими бородами. Как анекдоты...

Янкель вздохнул, сказал сыну своему «выйди, пожалуйста, с глаз» и полез в карман за чекушкой. Хлавка, как шулер, тут же стряхнул ему стаканчик. Железный. Раздвижной. Всё это Мойшик успел заметить, только прикрывая дверь.

В своем кафе, куда вернулся вновь, он прошёл к буфетной стойке. Небрежно потребовал шампанского. Буфетчица и Официантка раскрыли рты. Буфетчица схватилась было за вскрытую бутылку, ну на розлив которая – он отрицательно покачал головой. Буфетчица немо взглянула на бутылку, которая стояла на витрине, целую (мол, неужели эту?), – он кивнул. Пантомима продолжалась. Переводя взгляд с одной дамы на другую, он устало снимал фольгу и откручивал проволочную ловушку с пробки, также устало побалтывая бутылку в руках. С подноса взяты были три перевёрнутых стакана, поставлены на стойку. Профессионально – только с задымившимся хлопком – снял пробку, налил в стаканы. Поднял свой. Прозит! Женщины оглянулись. Трое посетителей за разными столами жевали жировое мясо. Цепляли на вилки унылую разваренную вермишель...

– Пенсионеры, – небрежно сказал кавалер. В раздаточном окне для него сфотографировалось целое умильно-свинное семейство поварих. Младенчески розовое, знаете ли. Помотал им рукой. Будто бы тяжелым дендинским стягом. Приветствую, дорогие!

Буфетчица спросила – за что пьём?

– За мою удачу... Скоро вы меня не узнаете... – загадочно сказал герой.

– Почему это мы вас да не узнаем? – Глотнув, Официантка попыталась кокетнуть всеми рюшами на кофте, встряхнув их.

– О-о! Скоро я буду совсем другим человеком... Совсем другим...

Кавалер поигрывал чайным стаканом, любуясь золотом вина. Пенсионеры жевали. На ум приходили тренажёры, которых забыли выключить. Свинное семейство из раздаточной вываливалось.

Протянув руку, взял Официантку за подбородок. Заглянул в самый тайный угол её души. Заглянул, как ночь. Отпустил. Потрепал по щеке. Оставил двадцать пять рублей на стойке. Пошёл усталой протокольной походкой гангстера, левую руку, как пистоль, заложив в карман пиджака, а правой поматывая у плеча. Как всё тем же ленивым дендинским стягом. Официантка чуть не описалась. «Наследство ухватил? В Америке!» – «Не иначе!» – подхватила Буфетчица. – Или здесь где хапнул. Миллион!» Сама испугалась цифры. Но тут же успокоила себя: «А чего! Вполне!»

Абрамишин же, как только завернул за угол кафе, из роли сразу выскочнул. Поддал козликком... и припустил по улице. Самым натуральным образом. Как будто на стометровку. На ГТО. И-э-э-э-эх!

...В куполообразных окнах дома на окраине периодически возникали все его обитатели вместе с детьми. Особенно

по воскресеньям. И дружно принимались кивать и разговаривать, когда кто-нибудь проходил мимо и приподнимал в приветствии шляпу или кепку.

Высвистывая грязью, изредка проносился грузовик. Цветки на обочине дороги начинали трепыхаться, уделываемые этой грязью, словно от неопишуемого восторга ребятишки.

Как далекий барабанный бой, появлялась на дороге Почекина. Барабан приближался. Почекина поигрывала ножкой. Ведомый Офицер шёл в громаднейших галифе. Как две басовые балалайки по дороге переставлял. У Янкеля отпадала челюсть. А Фрида начинала возмущаться. И всё повторялось: Почекина суетливо заводила балалаечного в мазанку, и оттуда сразу же выскакивали её дети, Генка и Жанка. Фрида не переставала ругаться, а Янкель говорил странную фразу: «Когда тебе двадцать – ты идёшь на ярмарку, когда тебе далеко за сорок – ты вже возвращаешься с неё...» И фразу эту Фрида от злости даже пропускала мимо ушей...

Всё менялось в этой мазанке только с приездами матери Почекиной, бабушки Генки и Жанки. Приездами ежегодными, в конце лета, из какой-то Тёплой Горы, находящейся где-то на Урале. Временно Почекиной приходилось прикрывать лавочку. Вообще она куда-то исчезала. Дети сразу преображались. Похаживали возле дома сытые, гордые, в чистом, в заштопанном. Новые сандалии на них появлялись, на Жанке вдобавок чулки. «Мы с Жанкой растём как бурьян при дороге!» – хвалился Генка Мойшику, прыгая с ним на одной

ножке возле мазанки. А в это время Жанка пригнувшейся козой неумело сигала через новую скакалку, быстро запутываясь в ней и налаживая её каждый раз на землю заново. Две женщины неподалеку посматривали на детей, разговаривали тихо: «...Как представлю только, что дети всё это видят... слышат по ночам – сердце кровью обливаются... Я б убила её, убила!» Фрида советовала забрать детей. Совсем. Увезти. «Забирала, милая Фрида, забирала! Так приехала, гадина, с милицией отобрала – не пьёт ведь она ни рюмки, работает, просто потаскуха врождённая. Как же отберёшь? Попробуй, докажи. Чуть что – жених! Сватается! Господи, что делать!» Женщины смотрели на детей. Генка примеривался к канаве с подсыхающей грязью. «Ну, бабушка, сейчас у тебя сердце ещё раз кровью обольётся». Изо всех сил разбежался – и прыгал через канаву. Конечно же, в грязь. Правда, уже на другом берегу канавы. Бабушка бежала к внуку. «Да миленький ты мой! Расшибся!» – «Ничего, – давал себя приводить в порядок Генка. С новыми сандалиями уже как с грязнотупами. – Я ещё не так могу. Вот увидишь». Мойшик завидовал Генке: отчаянный какой!

Где-то через неделю приходила сама Почекина. Не обращая внимания на причитания, на угрозы, на мольбы матери, ставила на керогаз ведро воды. Проверяюще поглядывала вокруг. Так проверяет себя, надёжность свою граница. На виду у всяких там беснующихся басурман и шведов. С ведром, полотенцем и куском хозяйственного мыла шла из дома двором

к сарайке. Ведро плыло словно само по себе, помимо болтающейся сбоку Почекиной. Самодовольно Генка показывал Мойшику в раскрытую дверь свою голую мать. Как достопримечательность улицы имени Благоева. Мойшик смотрел во все глаза. Почекина стояла к мальчишкам спиной с лоснящимися тугими ягодицами, намыливала у себя под мышками. Ноги её были как замысловатые корни. Вдруг обернулась со злым, окрысившимся лицом. Сразу схватила полено. Ребятишки брызнули от сарая в разные стороны. «А дверь закрывай! А дверь закрывай!» – кричал перепуганный Генка.

Бутылки шампанского стояли этакой ротой наполеоновских солдат. В золотых киверах, знаете ли.

Отсчитав деньги, взял себе одну. На сегодняшний вечер. Вложил в купленную целлофановую сумку. В кондитерском попросил коробку шоколадных конфет. Нет, нет, вон ту, перевязанную ленточкой и с цветочками. На крышке коробки. Для девушки, знаете ли.

В овощном пришлось постоять. Женщины. Сгрудились за марокканскими апельсинами. В проволочных колясках – горки крупных апельсинов. И сразу набежали. Да, да, за этой дамой, лично. Да, а вы за мной. Снисходительно улыбался. Он один только знал характерную черту этих женщин. Стоя в очереди, ни одна из них (ни одна!) не приготовит денег заранее. Начинают рыться в кошельках, в сумках только тогда, когда товар у них в руках. (Вот он! Можно ощупать его!) Только тогда. Поразительно! Роковая последовательность!

Приходилось только возводить глаза к потолку, призывая Всевышнего полюбоваться на это. Вот, пожалуйста, – роется в сумке. Даже ощущаешь большое беспокойное бедро её. Горячее. Ёрзающее, знаете ли, о твою ногу сквозь шелковистый материал платья. И куда деться прикажете? Не замечает. Ёрзает. Ищет кошелёк. Хотя сумка доверху забита апельсинами, за которые она должна была заплатить пять минут

назад! Пожалуйста!

Наконец и ему взвесили полтора килограмма. И ещё два настоящих, пористых, пропотелых лимона купил. К чаю, знаете ли. Люблю.

Выбрался из очереди с уже довольно тяжёлым пакетом, перехватывая его поудобней. Всё это на вечер. На бурную ночь. С Ниной. Фамилия интересная: Подойко. Нина Подойко. В жилуправлении работает. Но волосы! Волосишки её! Нет, нет, лучше не вспоминать раньше времени. Нет, нет, забыть до вечера! А вот дамская причёска навстречу идёт. Времён Пушкина. Татьяна Ларина. Две виноградные грозди по бокам головы. Что-то новенькое. Прелесть, знаете ли. Извините, виноват. Куда смотрю? Куда надо, туда и смотрю. Какой хам. Всё настроение испортил. Ох, уж эти пенсионеры! Ничего их не интересуется. Только бы жевать. Тренажёры!

...В один из своих приездов из Тёплой Горы бабушка привезла внукам взрослый велосипед. Мужской, довоенного выпуска, но с ободами колес никелированными, прозрачными как озёра. Велосипед остался памятью о сыне, который погиб в самом начале войны. Вот так, вроде бы подарок теперь от него. Племянникам.

Сняли седло, навернули на раму оторванный от старой телогрейки рукав, и девятилетняя Жанка ехала, осторожно крутя педали, облепленная бегущими ребятами, к которым всегда вязался какой-нибудь приبلудный долган,

орущий больше всех, вообще неизвестно откуда взявшийся. «Ой, держите меня! – пищала Жанка. – Ой, не отпускайте!» И падала. Как плаха. Придавив вдобавок какого-нибудь засуетившегося пацанёнка.

Толком кататься она так и не научилась. Генке было рановато на этот велосипед. Однако Генка не был бы Генкой, если бы не взобрался на него. Сопровождаемый всё тем же бегущим кагалом (и примкнувший долган лет четырнадцати бежал тут же), командовал: «Бросай!» Его бросали. Он даже не вилял, как Жанка, а сразу мчался вбок. Пикировал в мазанку. Достав из-под велосипеда храбреца, ребяташки его снова подсаживали и бежали. (Долган болтался над всеми, будто утаскивал всю кучу, неумомимый, как флаг.) «Бросай!» – командовал Генка. Почему-то в одном и том же месте улицы. И велосипед мчался к мазанке, падал там вместе с лётчиком.

Долган показывал как надо. Наяривал педалями как сумасшедший рыболов. Все бежали за ним. Боялись, что удерёт. Но долган – заворачивал. И, пригнувшийся, мчался назад: засученные ноги работали выше головы! Через неделю Генка поехал. Свободно вихлялся на рукаве телогрейки. Или повихляется, повихляется, как следует разгонит машину – и парит на педалях. Как сокол. Стал катать даже Мойшика. На раме. И две женщины, прервавшись поносить Почекину, с умилением смотрели. Бабушка поворачивалась к Жанке: мол, что же ты? Почти в два раза младше тебя? «Вот если

бы дамский...» – куксила губы надменная Жанка. Глаза её были как чеснок. Как укосье доли чеснока.

И бабушка, точно впервые увидев их такими, разглядев их только сейчас – как пуганая-ворона-после-куста – почему-то обмирала. Грех это думать, грех, но распутные у девочки глаза. Распутные. Как и у её матери. Ведь сразу видно. Неужели тоже свихнётся? Господи, защити её! Помилуй! Не допусти!

Женщина гнала худые мысли, гнала. Лицо её вдруг смешалось. Как сено. Стало неузнаваемым. «Ты чего, бабушка?» – растягивала в сторону губу Жанка. Женщина начала горько плакать. Рыдать. Фрида гладила на своей большой груди прыгающую головку, глаза её тоже наливались слезами. А Жанка топталась, хмурилась, ничего не могла понять. И с намотавшими грязь колёсами, как с замороченными солнцами, проносился, прокатывался велосипед с вопящими Мойшиком и Генкой...

Длинно, настойчиво позвонили. Едва только успел переодеться в домашнее. Странно. Для Нины Подойко рановато. Скинул цепочку, повернул английский замок, открыл. Перед ним был пенсионер, чем-то похожий на старика, которого он задел в гастрономе. Утробно-сахарной, знойной сипатой пьющего был пролаян вопрос: здесь ли живет Абрамишин Мойше Янкелевич? Из-за старикана подпрыгивала Голикова, точно подталкивала его, направляла.

Бывает... откроешь дверь нехорошей вести... которую видишь сразу. Она стоит в выпученных глазах вестника, олицетворена безжалостно всем его обликом, всем его духом. И знаешь, что весть эта, едва только будет произнесена им – перевернёт всю твою жизнь, сделает её разом другой...

Абрамишин молча отступил, шире распахивая дверь. Но перед носом Голиковой – дверь захлопнул. Повёл пенсионера зачем-то на кухню. Что? Что случилось? Проходите, проходите. Вот сюда. Садитесь, пожалуйста! Что? что произошло?

– Повестка, – рубанул пенсионер, уже сидя на стуле. – В суд. – Порылся в папке: – Вот. Распишитесь в получении.

Но позвольте! Что такое! На каком основании? кто подал? почему? Из холодильника Абрамишин зачем-то выхватил бутылку и уже плескал вино в стакан. Вот, выпейте, по-

жалуйста, и расскажите мне всё, расскажите! Пенсионер без разговора выцедил из стакана вино. Просто как лакмусовую бумажку. И как-то надолго задумался, скосив левый глаз. – Николаевский бакенбардный барбос-солдат вспоминает минувшие дни... Абрамишин потрогал его за плечо.

– А чего тут говорить? Жена... На развод... Ты ответчик... Так что держись... Мне пора. Спасибо за угощение!

Щёлкнул английский замок. Абрамишин вернулся в комнату. Остановился. В отличие от барбоса, левый глаз его вздёрнулся. Как бочонок в лото без квартиры... Ведь были заплачены деньги. Немалые деньги. Что же это такое? Как же теперь жить?..

Абрамишин лихорадочно переодевался. Молнию на брюках заело. Дёргал, дёргал её вверх. В муках уже подвывал, плакал. Вымахнул за дверь.

...Свечки в алтаре казались ровно тысячью голых тонких людей, стоящих перед высоким ночным лесом, в который они никак не решались войти. Мучились, горели, как солома. Почему это так представилось Мойшику – он не знал. Дух его перехватывало. Рядом солидно посапывал Генка. Иногда подталкивал локтем, показывая на кого-нибудь глазами.

Старенький священник, вставленный в великое ему, ломкое золото, дребезжащим голоском пел непонятные слова о Боге, а другой – громадный, дикий, с чёрной бородой, – по-

хозяйски ходил и вторил ему жуткими развёрстными октавами, словно бы усиливая его слова в десятки, в сотни раз. Лиц молящихся женщин не было видно, все они стояли на коленях впереди, кланялись только их головы в белых платочках и махались крестиками их руки.

Рядом с мальчишками, тоже на коленях, как и женщины, стоял пожилой дяденька. Он молился с плачущим, словно обнажившимся лицом. Осенял себя размашистыми крестами. Слезился, мучился. Неожиданно перед Мойшиком возник громадный бородатый поп. С голосом, как обвал: «Кто привёл его сюда?! Кто позволил?! Убрать из храма!» Пожилой дядька тут же вскочил с колен и потащил Мойшика к двери, выворачивая ему ухо. Выволок на паперть и бросил, отряхивая руки. Ушёл. Нищий с протянутой ладошкой висел на костыле и смотрел в небо. Молниеносно дал пинка Мойшику под зад. И снова висел с закатными глазами. Как херувим. Как будто и не он вовсе пнул.

У, гад! – выдал ему Генка и сбежал к другу вниз. Мойшик морщился, пригибался от боли, ходил, ласкал ухо. Генка отряхивал ему короткие штаны, рубашку. «Ничего, не унывай. Нос выправишь – и порядок. Будет как у меня. Пусть тогда только не пустят!» Мойшик хотел заплакать, но вместо этого спросил: а как? выправить? Потому что нос у Генки был как пипка, ему хорошо. «Запросто. Хирург. Он знает. Хирург всё знает. Вон матери тоже скоро будет выправлять. Ногу. Запросто».

Но Почекина так и поигрывала замысловато ножкой, проводя к мазанке галифистых своих офицеров, а Мойшик долго вспоминал по ночам того громадного бородатого дьякона. По воле которого его, Мойшика, вытащили из церкви и дали пинка. Вспоминал бородато-жуткие его, красные, развёрстые октавы: КТО ПРИВЁЛ ЕГО СЮДА?! А-А-А?!!

...Тётку эту не сразу и узнал: то ли парик напялила, то ли это – крупный жёсткий перманент такой. Даже не дав поздороваться, она сразу завопила на весь подъезд:

– А-а, явился не запылился! А-а, прибежал! Как ребёночка растить – так тебя нету! А повестку получил – сразу примчался! А-а-а! – Наступающий парик казался кучей. Кучей конских яблок в сетке!

– Позвольте, позвольте, Мария Филипповна! Что это значит! Какого ребёнка, какого! о чём вы говорите! какого! Мы ведь с вашей дочерью, с этой, как её... с Ниной...

– А-а! Забыл уже как сына зовут! Как жену зовут! А-а! Завтра в суде вспомнишь!

Абрамишина словно начали душить. Дёргал, дёргал руками над головой:

– Вы... вы... как вы... да вы...

А тётка, изображая дело так, что он будет её сейчас бить, сразу зафальцетила певицей Руслановой:

– Константин Никано-о-о-орыч! Константин Никано-о-о-орыч! На по-о-омощь! Константин Никано-о-о-орыч!

Сзади загремела цепь, разом распахнулась дверь, явив на площадку старикана в пижаме, но со стеклянным молодым глазом.

– Я здесь, Марья Филипповна! Я – свидетель! Мы его сей-

час скрутим! Мы его сейчас живо, мерзавца! – Пенсионер начал деловито подворачивать рукава. Стекланный глаз его был проникающ. Как ихтиандр. – Сейчас мы его!

Абрамишин даже не кричал после всех этих фантастических превращений старикана и тётки, не вопил, что называется, в голос (а надо бы!), Абрамишин только попискивал, попискивал, сжимая кулачки: «Негодяи! Негодяи!» – Показался по лестнице прочь.

– А-а! Побежа-ал! Чеши давай, чеши-и! А-а! – Парик торжествующе тряся: – А-а! Завтра в суде-е!

Внизу на лавочке у целой фаланги прокуроров в белых платочках глаза заблудились и стали, ничего не могли понять: только что туда пробежал и уже обратно, значит, промчался.

Точно загоня себя в крохотное пространство, метался взад-вперед у проезжей части дороги. Плавающий асфальт был как марихуана. Абрамишин чувствовал, что умирает. Проносящиеся автомобили обдавали жаром печек. Пошёл было, но вернулся, влез в подошедший автобус. Добровольно висел, как гусь в коптильне, не соображая, куда едет и зачем. Как оказался на Тверском – не помнил. Расхристанный, шёл по аллее вверх к Пушкинской. Солнце в облаке было каким-то свистящим. Как чайник, про который забыли. К которому никто не подходил.

Парни сидели на спинке скамьи. Ноги поставив на сиденье. Козлиная мода такая. Абрамишин шёл. Какой-то муж-

чина басил жене своей с обидой и надсадой, как баят из закрытого погребца: «Ну что, сходила, дура, сходила? Выставили? Пойдёшь ещё к своим деткам, пойдёшь?» Жена стояла раскуделенной куклой. Везущаяся навстречу старуха с выпученными глазами как будто белены объелась. Метнулся от неё, присел на край скамьи. Ещё одна женщина выкатывала перед подругой глаза: «И стоит, уже ноздри раздувает! Как лукоморья какие-то! Ужас! Думала – убьёт». Подруга говорила своё: «Сделала химию, прихожу к нему – а он лицо воротит! Ах ты такой-сякой! На себя-то взгляни! В зеркало! Рожа!» На голове у женщины сидел бухарский баран. Бело-жестко-кудрявый.

Подвывая, Абрамишин побежал. Убегал как лётчик. С руками на голове, будто с наушниками...

Боялся включить свет. Бесшумно, словно приведение, передвигался по комнате, оставляя за собой одежду. Зачем-то щёлкнул клавишей телевизора, безотчётно сев в кресло. Голова женщины пела, разевала рот на тонкой жилой шее – как будто на бьющих из груди её, из нутра лучах. Ничего не понимал – кто она? зачем? – не догадываясь дать звук. Такой же обеззвученный, потом в чечётке трясся негр. Как швабра со шнурами... Вскочил, наконец, выключил. Как придавил всё.

Лежал в темноте на тахте. Во дворе слышался одинокий, испуганно-истерический стукоток женских каблучков. Оборвался у подъезда. Хлопнула дверь. И почти сразу кольнул звонок. Знал, кто звонит, но дыхание почему-то оборвалось. Ещё звонок. Нет! Нет! Сунулся под подушку, закрылся, сжался. Сердце бегало, шуршало в подушке, точно мышонок в сене. Ещё звонила. Ещё долетали звонки. Ещё. И стало тихо. Высвободил голову, вслушиваясь. Опять хлопнула внизу дверь. Стукоток каблучков истерично разбежался по всему двору. Потом пропал. И тут же наверху, на потолке заплясали в драке. Муж и жена. Перепуганная, повизгивала, влаивала собака... В миг всё оборвалось. Точно разлетелись по разным комнатам. Нет. Вновь сильно заплясали – стулья западали. И собака, скуля, быстро поползла куда-то,

зацарапала потолок... И Абрамишин завыл, наконец. Заплакал в голос, застенал. В бессилии ударял и ударял кулачком в подушку. И где-то высоко и пронзительно зудел, как циркуляркой мучил темень самолет. Удалялся постепенно, долго пропадал.

К зданию нарсуда Абрамишин явился за двадцать минут до назначенного в повестке времени. Комната 108. Значит, на первом этаже. Но при виде трехэтажного казённого безликого здания, стены которого были в проказе ремонта, при виде как-то боком висящей, брошенной люльки для маляров с подойной гирляндой ведер, притороченной к ней как к корове, при взгляде на лебёдку, удерживающую повисший с крыши трос, на грязную жёлтую воду в цементной пустой бадье, в которой, казалось, и растворился весь этот ремонт... Абрамишин вдруг понял, что он пропал, что ему конец... И было тягостно, жутко сейчас вспоминать, как год всего назад он сам, своей радостной ослиной волей сунул голову в ловкую петлю. Сунул, как заяц в силоч, за которым тот видит только райские кущи в виде зелёного хрусткого сочного клевера высеянного небесным Пасечником...

Долго стоял, закрыв глаза, сжимая зубы, боясь опять разрыдаться... Двинулся, наконец, к входу.

В узком полутёмном коридоре он кричал им. Шёпотом:
– ...Я вас разоблачу! Слышите! Вы подлая сговорившаяся шайка! Слышите! Я выведу вас на чистую воду! Вам не уйти от ответа! Я всё расскажу!

Они вчетвером сидели на откидных сиденьях, какие рядами ставятся в клубах. Он сидел напротив, у другой стены,

всё время придвигался к ним с безумным своим шёпотом:

– У вас ничего не выйдет! Слышите! Я знаю про вас всё! – Он откидывался на сиденье. Он снова придвигался к ним: – Она мафиози! Она купила вас всех троих! Она подлая сводня! Зарабатывающая на своей дочери! Она...

– Ну ты! – не выдержала Кургузова. – Заткнись! Приду-рок! – Плотное, сбитое лицо её сидело в высоком жёстком вороте платья. Так бывает вбита бабья нога в распоротый валенок.

– Я ему сейчас дам по роже! Марья Филипповна! – радостно предложил старикан со стеклянным глазом. Но Кургузова положила ему руку на колено: спокойно.

– Вот видите, видите, какая это дамочка! – уже ловил мучущиеся глазки Голиковой (свидетельницы) Абрамишин. – Она же всё рассчитала. Она же всё спланировала. Дочка её преподобная забеременела, забеременела неизвестно от кого (яблоко от яблони, знаете ли, яблоко от яблони!), эта старая сводня тут же находит меня, дурака, я, естественно, ничего не знаю, не подозреваю даже, плачу громаднейшие деньги за штамп с её дочкой, за прописку – и вот теперь эта подлая всё переигрывает. Вы понимаете, Валентина Ивановна, эту грандиозную афёру! Вы понимаете! Откажитесь от своих доносов, откажитесь! Умоляю вас! Я виноват, виноват перед вами, мало обращал на вас внимания, виноват, но зачем же вы даете такие карты в руки этим негодьям! Зачем губите меня! Откажитесь! Умоляю вас! Валентина Ивановна!

Голикова начала краснеть, неуверенно захихикала, но сунутая локтем в бок, стала прежней, ехидненькой:

– Ишь вы какой хитрый, Михаил Яковлевич! Деток делать вы умеете, мастак, а как отвечать – сразу в кусты? Ишь вы! Я всё, всё расскажу про вас! Как вы себя ведёте! Как водите к себе несчастных женщин! В то время как жена ваша, жена ваша молодая бьётся одна с ребёнком! Всё расскажу! Не открутитесь теперь!

Абрамишину не хватало воздуха.

– Да вы... вы... да вы такая же подлая! Сколько вам они заплатили? Сколько? Сколько сребреников?! Несчастливая вы женщина!

– Марья Филипповна, разрешите я ему вмажу! – Из рта старика пахло пряной душой. Душой его прямо пёрло изо рта, душой!

– А вы, Галина, а вы! – по-отечески пенял уже «жене» своей Абрамишин, которую и видел-то второй раз в жизни (первый раз – в загсе). – Только начинаете жить и уже участвуете в подлых делах вашей матери! Вы молодая, студентка, комсомолка, наверное, вся жизнь у вас впереди – и начинаете вы её с подлости. Что я вам сделал? Что? Ведь я вам в отцы почти по возрасту гожусь!

Девушка бледного вида жевала жвачку. Повернула к Абрамишину глаза. Как бледные моли... Коротко, безразлично бросила:

– Козёл!

– Вот видите, видите! Валентина Ивановна! Какое воспитала она сокровище! Эта старая сводня! Эта бабушка русской проституции! Видите? И вы с ними заодно! А? И вы – с ними!

– Марья Филипповна, ну разрешите я ему вмажу! Ну сил нету терпеть!

Кургузова всё удерживала порывающегося старикана за костлявое колено. Нервы у неё были крепкие.

– Терпение, Константин Никанорович, терпение. Посмотрим сейчас, что он на суде, в зале, будет чирикать! – Тёмный взгляд её брезгливо шарил по ногам Абрамишина, по выпуклому паху, схваченному модными брюками, по выплясывающим на полу туфлям, начищенным до блеска. Ишь, как на суд начипурился, гад! Короткопалой рукой сама взбодрила всё на парике. Взглянула на часики на толстом запястье.

И Абрамишин шкурой почувствовал, что время его уходит, ушло, что всё непоправимо, ничего не исправить, что не договориться ему никогда с этими негодьями, что всё, сейчас вызовут в зал – и конец, катастрофа!

– Да пожалейте вы меня-а, – заплакал, наконец, раскачиваясь, несчастный. – Пожалейте! Люди вы или не люди! Не губите! Я заплачу вам! Я всё продам! Я займу! Сколько вы хотите! Сколько! – трясся несчастный человек.

– У тебя денег не хватит, чтобы рассчитаться с моей белянкой. – Кургузова прицелилась, чмокнула дочь. Дочь дёрнулась, как тряпичная, продолжила жевать. – Алименты нам

будешь платить. Нам много теперь денег надо.

Абрамишин зажмурился, взвыл, стучая себя по колену кулачком. Старикан откровенно хохотал, поталкивал Кургузову. Глазки Голиковой бегали. Как в настольной игре шарики...

Абрамишин опомнился, выхватил платок, быстро стал вытирать лицо. Потому что дверь раскрылась. Скучным голосом протокола высокая худая женщина объявила, что такая-то и такие-то (истица и свидетели) и такой-то (ответчик) – вызываются в зал суда. «Товарищ судья! товарищ судья! – втягивался в зал, тараторил в куче, как в водовороте, Абрамишин. – Эта истица занималась прелюбодеяниями. Понимаете? И ребёнок не мой, и ребёнок не мой! Совсем не мой! Понимаете! Неизвестно от кого! И я против развода, против развода! Я сейчас вам всё объясню! всё объясню!» – «Я не судья, – ответила ему женщина, берясь за ручку двери. – Я секретарь». И приостановившийся сторонний наблюдатель увидел в раскрывшейся двери трёх женщин, которые были вставлены в высокие государственные стулья. Увидел дружную четвёрку колышущихся к ним разномастных голов, среди которых преобладала забойная лысина высокого старика. Увидел пятого, с плешью с начесом, который почему-то отставал от всех, пугался, как голкипер в маске. И всё исчезло – дверь захлопнулась.

Через двадцать семь минут дверь раскрылась – Михаил

Яковлевич вышел в коридор. Вывернутые ноги его ступали куда попало, как поломанные. По улице шёл, в бессилии закидывая голову. Плакал, рыдал. С забросившимся за ухо зачёсом, хвостатый, как редис. Вдруг с маху хлестнул себя по щеке. В небе разом заболталось солнце. Будто банджо на стенке. Бил, бил себя по щекам. Естественно избивал. Плакал, снова бил. В небе больно рвались струны. Прохожие приостанавливались, напрягали глаза.

Так же разом бросив истязанье, сломя голову помчался к Новосёлову. В общежитие. На Хорошевку. К единственному человеку в Москве, которому доверял. Да. Единственному. С которым прожил в одной комнате два года. Душа в душу. Единственному. О, Господи!

Новосёлов, крупный парень с чубом, сидел у стола и хмуро слушал захлёбывающегося словами Абрамишина. Не мог смотреть в его мечущееся, словно расшибленное лицо. С механическими скрежетами и щелчками всё время выскакивала настенная кукушка. Помотавшись в оконце и пошипев, без «ку-ку» захлопывалась. Потом пошла выстреливаться подряд. Без остановки. Новосёлов привстал, протянул руку, прихлопнул... «Извините». Напряжённо слушал дальше.

А Абрамишина несло. Абрамишин размахивал руками. Полы пиджака его разлетались.

– ...И вот катастрофический итог, Саша! Ведь я лишился прописки! Ведь меня выселяют из Москвы! По постановлению суда! Ведь на меня навесили алименты! У меня испорчен паспорт! Репутация! Мне впишут в паспорт чьего-то выбл..., которого я никогда не видел и не увижу! Ведь меня надули как мальчишку! Обвели вокруг пальца как последнюю фитюльку! Кретинка! Завтра участковый попрёт меня со снимаемой квартиры! А то и поведёт с другими под локти на самолет! Господи, Саша! Ведь это катастрофа! Полная жизненная катастрофа! Ведь всё рассыпалось разом, безвозвратно! Тяжёлый лайнер рухнул на землю! Тяжёлый лайнер, Саша! Ведь ничего не собрать, не вернуть, не исправить, Господи!

Новосёлов хотел заговорить, но...

– ...Почему человеку не дают быть счастливым? Саша! Почему! Почему все завидуют его счастью! Уничтожают, убивают! Ещё два дня назад... Ещё вчера... ещё вчера... я... я... – Слова оборвались. – Абрамишин разом заплакал. Закрывался рукой, как мальчишка.

Стало тяжело в комнате.

Вытер глаза, говорил уже тише. Искажались, коверкались на лице улыбки:

– ...Эдакий еврейский кибуц Саша на окраине городка... В двухэтажном доме... Так и бегают взрослые и дети целый день... Так и бегают... С этажа на этаж, с этажа на этаж... – Смеялся. Губы его сводило как обмороженные. Человек был явно не в себе. Дальше говорил. Точно заговаривался:

– Она была на четыре года старше меня... (Кто? – хотел спросить Новосёлов.) Идёт тебе навстречу девчонка восемнадцати лет... Деваха... На высоком уже каблуке, с вывернутыми ходульными мослами балерины... В Доме пионеров занималась... Танцевала... Когда-то... Кружок... Жанка... Жанна... Улыбается тебе... Он ревновал её ужасно... Брат её... Генка... Один раз побил даже меня. Но я всё равно проникал к ней... Она летом спала на сарайке... А я, а я... – Абрамишин опять смеялся. Закрыв глаза. Не мог совладать с губами. Губы его казались разбитыми. Он разучился смеяться. И ещё говорил, вытирая слезы:

– Сейчас он директор крупного металлургического ком-

бината... С младенчества всё начертано, Саша... С детства... Судьба... Кому львом быть, а кому ничтожным зайчишкой... Всё предопределено... Генеральный директор. И ничтожество... Которое гоняют по всей Москве, затравливают как зайца... – Опять искажал, дёргал улыбки. Так коверкают дети игрушки. Человек был не здоров, человеку было плохо.

Новосёлов начал, наконец, говорить:

– Можно, конечно, попытаться опять добиться лимита в автоколонне, сходить на приём к Хромову, вместе бы и сходили, и можно начать... весь ад сначала... Но я вам советую, Михаил Яковлевич, уехать из Москвы. Уехать совсем. – Новосёлов посмотрел Абрамишину прямо в глаза.

– Но куда? Саша!

– Домой. В Орск. К родным. Вам надо... как бы это сказать?... В общем, вам надо отдохнуть. Очухаться от всего этого. Освободиться. Подумать. Уезжайте. Мой вам совет.

– Столько лет борьбы, лишений – и всё бросить? Нет, вы что-то не то говорите, Саша, извините, не то...

– Ну не знаю тогда... – Настырный, мелкосвитой чуб Новосёлова стал гулять как-то в стороне. – Не знаю... Отец ваш там... Мать... Сестра... Ещё два младших брата... Вас любят... Ждут... Вы много лет их не видели... Мне кажется, стоит поехать...

Абрамишин сидел. Уже погасший, с остановившимся взглядом. В синем громадном пиджаке своем. Новосёлов

ждал. Предложил чаю. Да что там чаю! Пообедаем, Михаил Яковлевич! Как бывало. Время-то двенадцатый час. У меня и пиво есть! Но Абрамишин сразу поднялся, поблагодарил. Нужно было ему уходить уже отсюда. Нужно было ему уйти как-то из этой комнаты. И он пятился к двери, слегка кланяясь и Новосёлову, и словно бы комнате, точно прощался со всем, что в ней, и лицо его опять наморщивалось, готовое плакать. И Новосёлов шёл за ним, словно поспешно задабривал словами, заговаривал. Обещал, что сходят к Хромову, что вместе сходят, послезавтра я во вторую. И вообще, Михаил Яковлевич, в случае чего, ну вы сами понимаете, то сразу ко мне, у меня поживёте. Тюкова потесним, в общем, если что – сразу ко мне, а насчёт Хромова, с утра послезавтра жду, не откладывая пойдём, думаю, что получится...

– Спасибо, Саша... Вы один... один ко мне... а я... я...

– Абрамишин всё же заплакал. Ну-ну, Михаил Яковлевич, похлопывал его по плечу Новосёлов. И Абрамишин вдруг припал к груди его и затрясся. И Новосёлов ощутил, сколько боли, нечеловеческого напряжения и боли собрал и удерживал в себе сейчас этот маленький человек. Ну-ну, Михаил Яковлевич, не надо так себя терзать, не надо, успокойтесь. До свидания, до свидания, Саша! Спасибо! Спасибо! Абрамишин выскочил за дверь.

На душе у Новосёлова было тяжело. Сидел опять у стола. Виделся почему-то сейчас Абрамишин совсем другим. Самодовольным, уверенным в себе. Сразу вспомнилось, как

приходил он сюда год назад забирать свой чемодан. Как хвалился он тогда Новосёлову, что провернул наконец-то «отличную сделку». Сделку с фиктивной женитьбой...

И такой вот зигзаг судьбы... Куда он интересно пошёл сейчас? Однако куда он Сейчас пойдёт в таком состоянии?.. Чёрт! Что называется, – выпроводил... Чё-орт!

В следующую минуту Новосёлов уже сдергивал трико, торопливо одевался. Но, пометавшись на автобусных остановках возле общежития, пробежав по подземному переходу на противоположную сторону улицы, – нигде Абрамишина не увидел. Синий большой пиджак нигде даже не мелькнул.

И так и эдак, словно разучившись читать, Абрамишин разглядывал робкие детские палочки самого короткого в мире ругательства, начертанные мелком на торце здания. Долго стоял под ними... Потом вагоновожатая скакала вместе с пустым трамваем по трамвайным стрелкам. Как сумасшедшая, дёргала вожжи. А коня впереди – не было. Улетел. Пропал. Растворился в воздухе. Громадная гремучая телега стекла скакала сама!.. Вдруг увидел рядом с собой предзимний, прикусивший язык ручей... Тут же кругом истоптанный, поутреннему мёрзлый хворост травы... Зажмурился, затряс головой – ручей и трава исчезли, под ноги бросился асфальт. Робко потрогал его ногой. Пошёл. Но опять вдруг стало холодно. Точно зимой, точно в мороз. В сквозных торговых рядках – как висельники в виселицах – включившись, сразу затолклись торговцы. Посреди своего товара. Коллективно колошматились. Все на верёвках. Радостные. Как ожившие на обед. Сейчас им принесут поесть. Сейча-а-а-ас! «А-а! не обманите меня! Вы все из Орска. Вы там живёте. Там такой базар. А здесь Москва. Сейчас лето, не зима». Пошёл по морозу, среди снега, в одном пиджаке, который вдруг стал ему короток, мал. Без шапки, крепко охватывал себя руками, от озноба содрогаясь. Чувствуя, что жжёт, прихватывает уши, лицо, нос. Скукоживался, стискивался весь. Лето сей-

час, лето...

На рассвете, выйдя из подъезда жилого дома, оставив дверь чьей-то квартиры на четвёртом этаже распахнутой настежь, Михаил Яковлевич шагал по пустынному, длящемуся бесконечно асфальту, улыбаясь во всё лицо. Без пиджака, в белой рубашке с коротким рукавом. Фонари стояли в тумане – словно красные феи, придерживающие одной рукой подол. На углу высовывал красные языки светофор. Мордастый. Как удушенник. (Из тех, из тех! Из торговцев!) Абрамишин кивал ему, улыбался как знакомому. Оборачивался, помахивал. Светофор икал, вздёрнутый...

Через три дня, вечером, он уже шёл где-то за Москвой, по просёлку, среди колосющегося поля. Отчаянно, как-то рукопашно, размахивал над головой руками. Точно кричал кому-то: стой! сто-о-ой! Потом пел. Пел гимны, псалмы. Которые до этого никогда не знал. Ни слов их, ни мелодий. Наполнял грудь воздухом широко, вдыхая весь воздух с поля. Волнисто, плавно колыбался по просёлку с гимном или псалмом. Разом умолкал, продолжая идти, что-то остро ища на дороге. Большие подорожники были раскиданы по земле. Словно раскатанные трупы чертей. Зелёные. Трупы-камзолы. Трупы-лапсердаки. Перескакивал через них, перескакивал. Снова яростно размахивал руками. Или, мельтеша ножками и растопырив руки, начинал разгоняться по дороге детским самолётиком. Из стороны в сторону пылил, из стороны в сторону. Всё дальше и дальше. Становясь всё меньше и меньше

на дороге, всё пылил самолётиком к закату. Сам закат был как чей-то подельник. Как приподнявшийся, весь в крови, убийца. И человек всё бежал и бежал к нему, не останавливаясь.